

СТРАХИ

Существует, кажется, немало книг и специальных работ, изучающих природу детских страхов. С некоторыми из них я столкнулся уже в юные годы, разбирая "макулатуру", что была свалена в сарае удельнинской дачи отца: дело в том, что жена его София Рафаиловна до то-
 педологом
 го, как целиком посвятить себя мужу, была — одна из областей науки, полностью изничтоженная в 30-е годы. Разбирая этот хлам, искал-то я, что греха таить, литературу, посвященную совсем иным сторонам человеческой анатомии и физиологии, — и, увы, кое-что находил, — но это уже совсем иной разговор, и к "первоначальным чистым дням" отношения он не имеет совершенно.

А вот страхи. . Откуда они происходили? Мне кажется, прежде всего из раздвоения в восприятии окружающего, хотя ответ такой сам представляет собой изрядную загадку. Поясню: с одной стороны, все вокруг было вроде бы предельно ясным, все, словно хорошо известными фигурками, расставлено по клеткам игральной доски. От этой ясности, этих клеточек становилось порою даже тошно; помню, как меня временами угнетала мысль об однообразии суточного цикла: вот утро, надо вставать, одеваться лишь для того, чтобы в конце дня наступил вечер, когда нужно опять делать все это — только в обратном порядке, т.е. опять раздеваться, ложиться в постель. И завтра, и послезавтра опять и опять то же самое. Это не позднейшие "психологические наслоения", а именно настроения, находившие на меня уже в самые ранние годы. Итак, существовал абсолютно ясный мир людей и предметов, которых видишь, слышишь, которые можно потрогать, ощупать. Но существовал и мир другой, общего ничего с ним не имеющий, мир

не для всех, а только для меня, мой мир, и о нем-то, конечно, никто ~~никогда~~ догадаться не может, ^{и даже я} не могу ~~его~~ ощутить, как мир обычный, потому что он бестелесный и существует... где? Легче всего сказать - в воображении. Но что-то в этом определении не совсем так, как-то примитивно, односторонне отображает оно то, что испытывал я уже трех-четырёх годов отроду. Скорее можно - если уж прибегнуть к современной терминологии - сказать так: был мир, и был его антипод, так сказать, антимир. Тут, конечно, с точки зрения ордоксального материализма (агония ^{ко} его ныне становится все яснее) напрашивается еще одна аналогия: с религией, тоже являющейся плодом раздвоения сознания людей на реальное ^и потустороннее, чувственное и сверхъестественное, материальное и духовное. Известно, что развитие ребенка в чем-то повторяет историю развития ~~этого~~ человечества. Утверждают, во всяком случае, утверждали в школьных учебниках моего времени - в последующие годы я вовсе не знакомился с соответствующей литературой, хотя, думаю, мало что внесла она нового в этот вопрос, - утверждают, что возникла религия из чувства страха (страха - не забывайте об этом, любители всюду отыскивать **фобийность**) перед тем, чего еще не мог осознать рассудок, в частности, перед грозными разрушительными явлениями природы. Что же, все это вполне подходит и к моему индивидуальному "раздвоению": ведь миру фигурок в клеточках детской жизни и интересов противостоял, был во многом наглухо отделен от него мир взрослых с их мало понятными интересами и так часто совершенно непонятными разговорами; да, пожалуй, прежде всего именно он, потому что менее всего можно было бы сравнить, скажем, непон^имание "феномена" электрического освещения, движения поездов или автомобилей с отношением к грозе первобытного человека (беру самый избитый пример). Хотя как знать: ведь раз уж

я пустился в обобщения, то каждое из упомянутых явлений само имело для человека двойное значение и, что самое важное, совмещало в себе и добро, и зло: то, чем любишься или с удовольствием пользуешься, а чего боишься. Дождь – благо в засуху, дождь – бич в пору сбора урожая. Электричество дает свет, но оно и "дергает", и даже, как часто повторяла мне мама, может убить. Очень весело ехать на трамваях, автобусах, автомобилях ^{или} даже следить, как быстро они проносятся мимо. Но под них можно "попасть", и тогда – страх, ужас, смерть. (Как я боялся когда-нибудь такого исхода: не за себя – за маму! И ведь случилось-таки – правда, когда (я стал) уже взрослым человеком и, по счастью, дело ограничилось лишь долгим пребыванием ее в больнице).

Вот это-то "раздвоение" самих окружающих предметов по принципу "друг – враг", не явилось ли оно причиной раздвоения души человеческой, раздвоения на конкретное, материальное и то, что как бы стоит за ним, до времени никак не проявляя себя вещественно, оставаясь субстанцией лишь потенциально опасной и грозной? Далее. Именно в проявлении одними и теми же вещами доброто и злото не просматривается ли вполне отчетливое деление на бога-спасителя и дьявола-разрушителя?

Моя старшая дочь Вера, в юности и вправду чуть ли не ставшая служительницей культа (да еще какого – мусульманского; спасла жизнь, ее реальность – но об этом, конечно, не здесь), так вот Вера долго играла в детстве в "воздухов" – невидимых существ, живущих в невидимом мире, писала даже про них рассказы, сочиняла разные истории. "Воздухов" у меня в детстве не было (гениально все и повторяется, и видоизменяется, подобно теме с вариациями), но у меня был "Он". И странное имя дал я ему: "Шутик".

Тут с этим именем тоже стоит разобраться. Мама моя даже в самом сильном раздражении никогда не чертыхалась (не в пример мне, грешному), но слово "шут" звучало у нас довольно часто. И как-то странно воспринималось оно в маминых устах, причем произносилось скорее с досадой, чем с настоящей злостью. Вот почему стало оно для меня олицетворением и чего-то, что направлено против человека, но вместе с тем и какой-то спокойной уверенности в преодолении этой силы, ибо была мама (несмотря на черты мнительности, так бесконечно возросшие во мне) трезво смотрящей на вещи и в целом очень оптимистической натурой. И вот опять раздвоение: "шут" — это какое-то загадочное и, видимо, все-таки нехорошее существо; но ведь часто слышал я и смешное определение — "шут гороховый" (почему "гороховый"?). А разве не похожи на слово "шут" слова и выражения "шутить", "шутливый", "шутник"? Получалось, что в одном слове концентрировалось и зло, и уверенность в его не слишком большой серьезности, возможности преодоления. Шута-то и выбрал я своим покровителем: пусть всем он грозит и угрожает чем-то, но ко мне — только ко мне! — поворачивается лишь доброй, улыбочатой стороной, становится, можно сказать, моим ангелом-хранителем. Для охраны нужно ведь оружие, так вот враждебное другим начало как раз необходимо мне для такой охраны. Поэтому-то и зову я его ласково "шутик", поэтому и молюсь ему, не понимая еще самого слова "молиться": "Шутик, сделай, чтобы не приснился страшный сон!" "Шутик, сделай, чтобы меня простила мама!".

Перечел я абзацы про "шутика" и даже удивился: оказывается, все-таки, вопреки моим ожиданиям и опасениям, хотя бы отчасти то, что осталось где-то в бесконечно далекой, причудливо-гибкой, неустоявшейся сфере детского подсознания, можно перевести в область сознательного, логического мышления. Пусть понятно это осмысление только мне, пусть другим кажется оно заумью. Что же — так и должно быть,

именно заумью, тем, что за умом...

Теперь сознаюсь в том, что и сам-то понял, только написав эти строки: "шутик" недолго просуществовал под изобретенным мною в самые ранние годы именем. Но "шутик" – и бессмертен, для меня, конечно, и умрет вместе со мною. Ведь разве не он неодолимо толкал меня уже подростком пересекать снежное пространство Пензенской улицы (Пенза – место моей эвакуации во время войны), чтобы дотронуться до какого-нибудь столба или дерева – постоянного объекта моей придури? Ведь разве не он заставляет меня и теперь, поиграв на рояле, ставить стул в незыблемо установленное мною положение, или обуваться обязательно с левой ноги (эх, эх!), а ступать на последнюю ступеньку только правой, или опять же чудить с расстановкой предметов – пары ботинок, скажем, – лишь в определенном порядке? Ибо спросите меня: откуда сей бзик, и я, наверное, только отмахнусь короткой фразой: "А шут его знает!" И вправду, если кто это и знает, то только не я, да и не дай бог слишком-то углубляться в эту тему. Любопытно только: испуская последний вздох и переходя в мир иной, быть может, и вправду антимир, успею ли я сделать движение правой – именно правой! – ногой, останусь ли и здесь верен своему ритуалу?

Волк, антропофагия, разбитое стекло и многое другое

Возвращаюсь к ранним годам — тем, что кажутся не историей, а пред историей существования. И вот опять "вспышка магия"; но странную картину выхватывает она на этот раз из непроглядного мрака беспомысленности, эпизод, о котором я и сейчас не могу вспомнить без какого-то почти мистического чувства, так и не будучи уверенным в том, было ли это на самом деле или, может, только привиделось во сне.

Перед большим, овальным, оправленным в мельхиор маминым зеркалом, что стоит на ее туалетном столике рядом с кроватью, сидит Аня. Она расчесывает волосы, и уже это странно: помнится, Аня никогда не позволяла себе занимать место хозяйки перед туалетными ее принадлежностями. В первый раз у меня на виду ее распущенные волосы, потому что привык видеть ее почти всегда в платке, с которым она и дома расставалась редко (деревенская привычка — держать голову в тепле), либо с волосами, собранными где-то сзади в пучок. Внезапно хлопает дверь ^{в коридоре, и} в комнату вместо давно привычных голосов доносится очень грубый, совершенно мне незнакомый голос. Почему-то становится ужасно не по себе.

— Нютенька, кто это там?

— Кто, кто — разве сам не слышишь — волк!

Я просто дрожу от страха.

— Может, это Андрей Дмитриевич, Нютенька? (имелся в виду наш сосед Чегодаев).

— Да разве у Андрея Дмитриевича такой грубый голос — не иначе как волк.

Вроде бы ничего особенного: с ребенком пошутили — и только. Но, повторяю, вся эта картина: и сидящая перед маминым зеркалом

Анюта, какая-то другая, новая Анюта, Анюта с невиданными мною ранее длинными, спускающимися гораздо ниже плечей волосами (много ли я знал в то время про ведьм?), и все вроде бы хорошо знакомое, но вдруг тоже преобразившееся, ставшее таинственно-жутким (теперь я, конечно, не могу не вспомнить Гофмана), — все это я считаю первым из запомнившихся мне страхов, которые при самых разных обстоятельствах, часто совершенно меняя обличия, вновь и вновь настигали меня в детском моем возрасте, чтобы воскреснуть уже на четвертой десятке лет, проявившись в том, что даже познакомило меня — хотя и не слишком коротко — с миром психиатрии.

Конечно, было здесь предрасположение природы, но были, видимо, и какие-то особенности ее развития, пусть лишь усугублявшие что-то заданное наследственным кодом, причем отнюдь не только и не столько ^вближайшем поколении родителей моих.

"Страхом" некоторое время наполнено было гуляние у нас на дворе. Страхом уже не мистически-неопределенным, а ~~в~~ ^внюх реальным для того трех-четырёхлетнего возраста, каким бы нелепым, иррациональным он ни казался позднее.

Рядом с нашим домом № 13 в том же дворе стоял дом № 15. В доме же этом, как говорила Анюта, и жила главная "шпана", "балда", "бандиты-паразиты" (произносилось всегда как сдвоенное слово). Наверное, началось с того, что как-то один из мальчишек этого соседнего дома — разумеется, постарше меня — решил поугатать "тихоню", а поскольку эффект превзошел все его ожидания, то угатать и истязать меня страхом стало неременным правилом и лакомым блюдом целой ватаги его сверстников. Всех доходящих до изощренности выдумок я не помню, но основной темой было "зарезать", "изрубить", "сделать котлеты", "провернуть через мясорубку" (буду-

чи завсегдааем кухни, я-то знал, что такое мясорубка). Конечно, кроме моего малодушия ^и до смехотворности бурной реакции ужаса, плача и воплей, немалую роль в подзадоривании моих мучителей играла и Анята, трепетавшая надо мною как насадка и неизменно обрушивавшаяся с руганью в адрес столь ненавистной ей "шпаны" – удовольствие последней от этого только удваивалось: можно было насолить не только мне, но и довольно комичной няньке.

На этом можно бы и кончить этот этап в историографии моих страхов, но, пожалуй, я добавлю еще одну гипотезу, возникшую при воспоминании такой жестокой конфронтации с дворовыми мальчишками. А именно: это, если хотите, была классовая борьба, отражение антагонизма разных слоев общества, в умы многих представителей которого была крепко вколочена фраза "кто был ничем, тот станет всем" (одно из самых убийственных и до гениальности точно сформулированных речений). В самом деле: я уже рассказал историю драма № 13, населенного сперва аристократами, затем – цветом интеллигенции. Все это, конечно, в той или иной мере было известно жителям окружающих домов, и уже совершенно очевидными были "буржуазные" традиции использования хозяевами прислуги и гуляния детей с няньками – едва ли не последним поколением подобных профессий. И вот всему этому противостоял уже мир... право, не знаю, кто населял соседние дома, но, во всяком случае, не бывшие дворяне, как Орловы и Котляревские, или интеллигенция, как Гершензоны да и та же семья профессора Котляревского. А возможно, тот факт, что такая простая деревенская женщина, как Анята, продалась "буржуйам", еще более подогревало страсти; ведь недаром же (конечно, не при посторонних свидетелях) она, желая обругать новые порядки и рождаемых ими людей, говорила со злобой: "Ах, уж эти... (короткая пауза и потом выпаливает, силе

но ... напирая на звук "р") пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Позднее над выражением этим и тоном, которым она его произносила, мы с мамой только посмеивались, предупреждая ее об осторожности, а ведь, пожалуй, тут было и не до смеха. То был глас деревенского люда, составлявшего подавляющую часть России, класса, должно бы объясняться в любви своему собрату и союзнику - пролетариату, но почему-то продолжавшего ненавидеть город (куда, конечно, не от хорошей жизни принесли ноги и Анюту), ненавидеть тех, кто отнял корову, кто оставил на счет гусей и "курей", кто выдумал небывалое (и не бывать бы ему никогда вовсе, чур меня, чур!) слово "колхоз"... Как известно, было и почище. Но, разумеется, обо всем этом я ни тогда, ни много позднее не знал, не знала или не хотела знать того и мама; но до Анюты через оставшуюся в деревне, но нередко бывавшую у нас сестру Клаву, конечно, не могло не доходить многое, очень многое - пусть в искаженном народной молвой виде.

Ладно. Покончим с социологией и вернемся к психологии. Хотя следующее, значительно более позднее воспоминание тоже отчасти связано с "бандитами-паразитами", по терминологии Анюты. Собралось как-то несколько ребят со двора (в их компанию затесался и я) и стали бросать камушки на балкон третьего этажа нашего дома - дом уже был надстроен, - дескать, кто докинёт. У одних получалось, у других - нет. Я стоял наблюдателем, но в конце концов и меня подбили попробовать свои силы и сноровку. Последнего у меня во всяком случае не было, и две-три попытки я совершил под дружный гогот обступивших меня мальчишек. Вдруг - дзынь! - разбилось стекло второго этажа. Думаю, что разбил его все-таки я (возможно, нарочно подсунутым мне камнем покрупнее), хотя мама и, конечно, Анюта наотрез отказывались этому верить, считая, что просто под меня "срабо-

тали" те, что постарше и попроворнее. Так или иначе, но в тот день ^ябыл совершенно убежден, что виновник происшедшего именно я. А что это значило? Да целый переворот в жизни. Шутка ли, всегда я считался "порядочным" мальчиком, но теперь-то с этим мнением покончено раз и навсегда: ведь стекла бить — это, конечно, уже самое последнее дело, во всяком случае, о более серьезных преступлениях я тогда не имел ни малейшего представления. Бесконечно долго тянулись часы до ^{уж}маминогo ^срабoты. Я был весь переполнен чувством своей греховности, переполнен настолько, что не мог не поделиться своим падением с Машей Чегодаевой, начав, помню, совершенно похоронным голосом: "Маша, а ты была когда-нибудь стекла?" Долго не могла она понять меня, думая, что речь идет о стеклах, которые валяются на земле. Когда же я ей все тем же похоронным голосом признался в происшедшем, просто не поверила.

"Ну и хорошо, что не поверила, — думал я, — ведь иначе она уже никогда не будет со мною ни во что играть".

Как я исповедался маме, не помню, но, видимо, тут же возникла мысль о подмене:

— Дима-то ведь наш прост, а эти... — дальше из уст Анюты посыпался град уничтожающих выражений в адрес "хитрой банды", "бандитов-паразитов".

Сама по себе вся рассказанная история не имеет отношения к теме "страхов", но они незамедлили начаться вслед за нею. В другом соседнем с нами доме № 13А (где жили, между прочим, Залогины) обитала некая Ядвига Юльевна со значительно старшими меня дочерью Баной и сыном Яником. Где она работала официально — не знаю, но неофициально подрабатывала уборщицей в том самом семействе, где

оказалось разбитым стекло, будучи там, как говорили, и чем-то вроде приживалки. Так вот, эта самая Ядвига, женщина, надо отдать ей справедливость, изрядно грубая и вульгарная, буквально не давала мне прохода, требуя, чтобы я (!) уплатил деньги за разбитое стекло. Потом форма повелений несколько изменилась: "Передай своей мамаше, чтобы выкладывала денежки, а то вызовем милицию!"

"Мамаша" то ли из принципа и убежденности в моей невинности, то ли из отвращения к наглым домогательствам особы, защищавшей интересы своих покровителей, в то время как сами покровители молчали, а вернее всего, по обоим причинам, вместе взятым, требования этого не выполняла, и я в течение довольно долгого времени оказался мишенью всевозможных оскорблений и угроз, по своеобразному сяди му не уступавших перспективе быть "провернутым через мясорубку".

Дело доходило до того, что я категорически отказывался хотя бы минуту гулять один во дворе, испытывая уже не просто страх, а какой-то мистический ужас при виде выходящих во двор и нацеленных на меня окон, где проживала моя мучительница. А ведь мне уже было тогда немало лет: последний запомнившийся мне эпизод угроз относился ко времени, когда в ожидании нового пианино я, сидя на куче сваленных во дворе досок, выжигал на них что-то, пользуясь лучами весеннего солнца и увеличительным стеклом...

Страх внушало мне и построенное где-то в 1935-1936 гг. здание института им. Тарасовича. Фасад его, весьма непрезентабельный, ^входил (да и сейчас выходит) в Сивцев-Вражек - между Плотниковым и Денежным переулками (последний к этому времени уже стал улицей Веснина); задняя же пристройка какого-то совершенно тюремного вида - сплошная глухая стена, и лишь наверху несколько подобных щелям, забранных решеткой окон с, кажется, никогда не про-

тираемыми стеклами — смотрела прямо на наш дом, окно нашей комнаты. С постройкой этого здания сразу исчез вид вдаль — до самого Арбата, отдельные здания которого легко можно было разглядеть, особенно в праздники, когда на стандартном здании почты (эти типовые проекты в форме перевернутой буквы "т" появились на рубеже 20-х — 30-х годов как-то сразу в разных частях города) водружали портреты вождей и зажигали гирлянды электрических лампочек.

Со слов взрослых я знал, что в институте этом (само слово внушало страх) проводятся опыты над животными, произносилось даже непонятное слово "вивисекция". А что значит такие опыты? Конечно, ~~бедных животных~~ бедных четвероногих мучают, разрезают им животы, кромсают вдоль и поперек — в общем, страшно подумать. Помню, тогда же, ^{ну} может быть, несколько позднее я задал себе вопрос: почему животных, скажем, кроликов, собак не более жалко, чем оказавшихся бы на их месте людей? И отвечал: да потому, что они беззащитны, совершенно беззащитны; люди, если их мучают, все же что-то понимают, могут представить, за что и почему это делается, животные же ничего-то, ничего-то немыслят — только визжат — и корчатся... А за пыльными окнами-щелями, конечно, находятся те, кого обрекли на самые страшные мучения. Конечно, ко всему привыкаешь. Привык и я видеть из окна безобразную, зловещую пристройку, в зарешеченных окнах которой лишь изредка мелькал свет. Но зато неизменно обходил я стороной фасад института. Правда, приходилось порою и мне ~~идти~~ мимо окон его цокольного этажа. И, пересилив себя, я заглядывал в те немногие окна, что еще светились в вечернее время, ожидая увидеть самые страшные сцены. Но картины были совер-

шенно обыкновенные: вот молодая женщина в халате моет какие-то пузырьки и пробирки, вот двое мужчин, сидя рядом, о чем-то переговариваются.

Кстати, по поводу моей "чувствительности" в отношении живых существ. Помню, уже восьми-девяти лет обзавелся я одним приятелем, коллекционировавшим бабочек и жуков, ловившим их и прямо живыми на-альывавшим на булавки. Тот же сверстник мой и просто, удовольствия ради, забавлялся, отрывая крылья или поочередно выдергивая лапки у жуков и мух. Зрелища этого я совершенно не мог вынести и сразу же убегал подальше. И все-таки начинал мучить меня червь какой-то неполноценности, сознания собственного малодушия. Неужели и я не могу сделать чего-нибудь подобного? Не забыть того, как, пересилив себя, я один поймал муху и каким-то почти нечеловеческим для себя усилием воли, при котором страшно билось сердце и даже в животе начало резать, оторвал у нее одно крыло. Оторвал и стал вдруг себе так противен, мерзок и, конечно, поскорее прихопнул бедную жертву свою, чтобы не мучалась. Не мог я без содрогания слышать выражения-зарезать корову или свинью, — до сих пор у меня в ушах ужасные визги и вопли, доносившиеся с участка, соседнего с одной из снимаемых нами на лето дач: мне сказали, что там режут свинью и что дело это долгое — действительно, визг продолжался, наверное, около часа. Очередной ли признак это неврастения? Видимо. Но вспоминаю гениальную фразу Достоевского о Федоре Павловиче Карамазове: "Он был жесток и сентиментален". Но об этом не здесь — я и так несколько отвлекся от темы. Гораздо ближе к ней — период страха электрических столбов. Тут мне уже 7, может, даже 8 лет. Не просто столб я боялся, но тех, где приклеена надпись "Осторожно, смертельно!" — и нарисован череп с двумя скрещенными костями внизу. Что же,

вроде бы вполне нормальное опасение, осторожность. Но в том-то и дело, что реакция страха становилась явно неадекватной, гиперболизированной в сравнении с его реальным объектом: эти столбы были темой наиболее жутких сновидений, да и наяву, стоило мне о них подумать (а спонтанное возвращение в мыслях к тому, что пугает, было — а в чем-то и осталось — ^{еще} одной характерной чертой моей психики), — ^в появлялось — прямо-таки физически ощущаемое чувство ужаса.

Если порыться в памяти, то (вспомнить можно), конечно, еще многое и многое, даже и рыться не надо: — ведь потяни только одну ниточку, и тут же, как по команде, ^{приходят} в движение и множество соседних.

На всю жизнь запомнил я один сон, а точнее, бред — это была первая ночь тяжелой ангины, причем ничего по видимости страшного-то в представившейся мне картине вроде и не было. Накануне были мы с Машей на Гоголевском бульваре и там, где одна сторона его довольно круто возвышается над другой, катались с горы на санках. Было это в ранней поре детства, и, возможно, сердце мое ёкало перед очередным стремительным скольжением вниз. Главное же-пугало, что санок поблизости съезжало много и легко было о них удариться, да и не только санок, но и лыжников, громко кричащих ^в и казавшихся вовсе оголтелыми. И вот это-то и привиделось мне в болезненном сне. Но не то было страшно, а то, что сон не прекращался, когда и глаза я открыл, и мама меня ласкала в страхе от моего крика. Да, сон, как в гоголевском "Портрете", не прекращался, и еще несколько времени стены комнаты были не стенами, а снежными горами, потом я увидел как бы то и другое одновременно, и только постепенно бредовое видение начало бледнеть, сходить с окружающей реальности, как сходит от трения пальцем пленка с переводной картинкой, — я окончательно пришел в себя.

Не знаю, можно ли отнести к "страхам" еще два момента, о которых хочу рассказать, но думаю, что все это вещи одного порядка, одних и тех же законов психической конструкции. Первое — это совершенная непереносимость догорания свечи:

— Погаси, погаси ее! — умолял я маму, когда видел, что дело близится к концу. Второе — ожидание того, что в наступившей тишине после слов диктора "мы продолжим передачи через несколько минут" внезапно, причем неизвестно в какой момент (вот что самое страшное), снова заговорит радио: именно эта внезапность, сопряженная с неизвестностью, пугала, и я предпочитал сам выключать вилку на несколько минут, чтобы избежать мучительно-пугающего ожидания.

Но хватит. Думаю, если кому попадутся эти листки, то сразу оценит он, каким психостеником они написаны, а может быть, если окажется человеком великодушным, и поймет, как "легко" было жить человеку, надвинутому такими чертами характера. Да, очень нелегко. Но сам-то человек этот знает, каким блаженным парением духа искупалась эта тяжесть, знает, что, ~~не~~ будь головокружительных бездн в его жизни, никогда не почувствовал бы он ^{себя} вознесенным — пусть ненадолго — на такие высоты; да что там, послушайте еще раз "Поэму экстаза", и язык этих гениальных звуков скажет и об этом куда больше, чем в состоянии сделать я своим пером...